

Свой театр / короткие рассказы

Category: Heкаýalar, Kitapcy

написано kitapcy | 24 января, 2025

Свой театр / короткие рассказы СВОЙ ТЕАТР

- ВЕСНОЙ

Первым к профессору входит неопрятный, с плохо перерезанными венами Алексей Кириллович Теплаков. Он говорит:

– Поймите. Я прихожу домой. Жена, двое детей. Жена повесилась в коридоре. На груди табличка: «Это тебе, Алешенька!» Ну, повесилась и повесилась, я к этому давно притерпелся. Так нет же, непременно какой-то сюрприз. Входишь в дом, в коридоре, рядом с ней, стрелка масляной краской – через кухню, через две комнаты – пока не выйдешь опять в коридор к ней же, к ее же табличке. Значит, входишь, огибаешь ее, идешь по всей квартире, опять к ней возвращаешься. А иначе быть беде, конец всему...

Профессор Густав Арнольдович Сыпь, седой, что называется соль с перцем, отвечает Алексею Кирилловичу Теплакову:

– Во-первых, будем говорить красиво. Моцарт и Сальери. Тут все дело в латентном гомосексуализме. Который всеми своими недюжинными подсознательными силами тянет растерянного полусонного еще Сальери к объекту своего вожделения – Моцарту, а тот, тоже еще не догадываясь о причинах их умопомрачительной дружбы, в безумии безрассудного взмахивает крылышками своего фрачка на манер бабочки-однодневки, на манер пошлой капустницы, а то и не во фрачке, а так – в камзольчике вполплеча, зеленом, лиловом, в цветах... О, – стонет профессор, запрокидываясь на своем вертящемся стуле так, что почти падает навзничь – видит замазанное белой краской стекло в окне и продолжает, – о, какая мука трогать пальцами его партитуру и, облюбовывая, обсасывая вишневые косточки его нот, вдруг, в одной шестнадцатой различить ту страшную проволоку, что

прошла насмерть синусо-предсердный и предсердно-желудочковый узлы центрального органа его кровеносной системы...

В это время Алексея Кирилловича Теплакова приходит проведать его жена – Марья Степановна Теплакова. У нее котлеты, завернутые в полотенце, чтобы не остыли. Голубцы особо в бледной, измученной капусте.

– Профессор, – говорит Марья Степановна Теплакова, – он всегда танцует на моих поминках. Обещает, что не будет танцевать, а потом танцует. Я ему стрелочки рисую. Пусть пойдет, посмотрит, как я все убрала, вылизала, привела в порядок, сработалась, состарилась за жизнь с ним. А он за один день успевает оформить все документы, место на кладбище без подселения, поминки. Сделал дело – гуляй смело!

– Послушайте, – отвечает Густав Арнольдович Сыпь, седой, что называется соль с перцем, он подходит к окну, замазанному белой краской и начинает очень осторожно проковыривать ногтем дырочку; ему кажется, что окно в мир треснуло и его залепили гипсом, чтобы срослось, но стекло чешется под белой гипсовой целебной краской, ему душно, стеклу, оно видит только двор, но не имеет возможности наблюдать за тем, что творится в палате.

– Послушайте, Марья Степановна, Моцарт часто бывает пьяным. Но в присутствии Сальери он старается не распускаться. Он страшится неизбежного. Поймите, Моцарт никогда бы не написал «Реквием», если бы не знал, что любовь Сальери его погубит. Он знал, что один из них должен умереть. Он умер, чтобы его возлюбленный остался жить.

– Что вы говорите! – отвлекается от своего горя Марья Степановна. – Моцарт был маленького роста, рахитичный, слабый, голубоглазый. Не жилец!

– И Пушкин был маленький, – вставляет Алексей Кириллович Теплаков, ее муж, который ест голубцы, а котлеты оставил на потом, потому что голубцы вызывают у него особое – вялое, смиренное, почти блаженное отвращение к жене – Марье Степановне Теплаковой; а все началось с того, что она со дня свадьбы говорила «Бог», именно «Бог», а надо говорить «Бох», «Бох». – А Дантес, не будем забывать, француз.

– Французское в любви к этой истории не имеет никакого

отношения, – замечает Марья Степановна и понимает, что в присутствии профессора ничего больше сказать своему мужу не может.

А профессор уже проковырял крохотную дырочку в белой краске и теперь приток к ней, как к замочной скважине, он вообще всегда был равнодушен к замочным скважинам, даже там, где были стеклянные двери, он любил наклоняться и подглядывать за событиями через замочную скважину. Он оглядывается на пациента и его жену и говорит примирительно:

– Рост в любви вообще не имеет ни малейшего значения. Это доказано всей медицинской практикой.

– Неужели мне придется покончить с собой, чтобы меня услышали?! – плачет Марья Степановна, и на ее щеке набухает привычный след от веревки, он чешется, и Марья Степановна начинает его расчесывать так, что слюна скапливается в ее рту от позорного удовольствия.

– Не волнуйтесь, – обнимает ее за плечи профессор, – оторвавшись от своего крохотного просвета, – у нас вся группа суицидная, все в порядке.

Неопрятный Алексей Кириллович Теплаков рассматривает свои руки с плохо перерезанными венами. Он уже съел голубцы с жесткими жилами капустной обертки и ему, собственно, больше нечем заняться.

• КУПИНА

Когда ему отсекали голову, он еще приподнялся чуть-чуть на локте, и срез шеи оказался новым лицом. Это новое лицо, как спил дерева, могло все рассказать о прожитой жизни. Он приподнялся на локте, подался вперед, в смерть, а пришлось жить с новым лицом, которое образовал срез шеи. Пришлось жить с новым лицом несколько долей секунды, чтобы рассказать обо всем, что было раньше, пока его лицо не стало обойденным, словно лицо змеи. Он ведь теперь мог только ползти, как упавшее дерево, вылезая из своей кожи, будто ствол, отобранный в мачты. Так и змея вылезает из своей кожи, оставляя на ней, на старой, даже свои веки, а новые не успевают нарасти за ту

четверть мгновения, которая осталась на всю другую жизнь. Это было давно, ему тогда отсекали голову, и он приподнялся еще на локте, словно собирался куда-то ползти, вылезая из кожи, освобождаясь от ветвей, от шороха, от звука, от солнечных прядей, падающих на глаза.

Это было давно, он все-таки стал деревом, не змеей, он стал гладкой серой сваей, стоящей рядом с другими в карамболе – ударяясь и отталкиваясь в волнах. Он стал сваей в венецианском канале, где сваи, как свободные одноногие кавалеры, кладут друг другу руки на плечи и топчутся мрачно в воде, опустив головы. А сабо гондол притоптывают по воценой глади воды и не спешат к сваям, потому что дорожат своей легкомысленной свободой и дают обет безбрачия. А его листва, чудесная листва его покрыла потолок палаццо, и в потолке этом могла заблудиться любая птица. И женщины, запрокидываясь, как запрокидывается дорога, падали навзничь и плакали в этой листве, утираясь кружевами.

Нет, он все-таки стал змеей, и чешуя его сделалась булыжниками мостовой, окружившей, взявшей в кольцо город. Он сдавливал ворох домов, взбивал свое гнездо, где к нему по ночам приходила самка в черном капюшоне и пела, шипя и позвякивая браслетами. И шипело мясо на черной сковороде, словно негр прижал свою руку к огню и не в силах теперь оторваться. И с шипеньем падала в воду отсеченная голова, прижигая каленую рану водой.

• НАШИ СТРАСТИ ПОД ДОЖДЕМ

– Ему дали медаль, будто какой-нибудь собаке! – Маша кусает собственную руку, больше никого нет рядом, только мелкая нервная волна жирными каплями облепляет ее, как кастрюлю. Маша не может остановиться, она кусает свою руку до крови. Теперь руку придется зашивать, а ведь они так хотели отдохнуть – Маша и Карина.

– Карина, Карина! – кричит Маша, но Карина не отвечает; на спасательном круге ее отнесло за буйки, и акулы, почувствовав запах теплой домашней Машиной крови, подплыли к Карине. Маша-

то плещется у берега, а Карину отнесло за буйки. Плавает теперь красавица Карина на круге как ни в чем не бывало, только голову уронила на грудь, а ног-то под ней и нету, одна бахрома – так живут в океане большие медузы с синими холодными сердцами.

Но Маша еще не знает, что отпуск испорчен безвозвратно.

– Карина, – скачет в брызгах ее голос между жирным бараньим небом и лоснящейся водой, – ты слышишь, ему дали медаль, будто какой-нибудь собаке!

Вареный жир желтых облаков и соленая тошнота океанской воды. Машин муж награжден в Брюсселе медалью за развитие метода получения эпитаксиальных структур арсенида индия с использованием МОС.

Акулы подплывают к Маше на мелководье, рискуя быть выброшенными на берег, и Маша сама протягивает им прокушенную руку, потому что сил никаких больше нету это терпеть.

У красавицы Карины, разумеется, тоже есть муж. Он работает известным театральным критиком и подписывается двумя псевдонимами: Боря в стакане воды и Крошка Тух-эс.

– Боря, – говорит красавица Карина своему мужу, – человек, чья фамилия состоит из трех букв, две из которых «ха» и «у», должен быть скромнее.

Боря в ответ начинает плевать, он вообще не умеет говорить, твердо выговаривает только мягкий знак; он так привык все оплевывать, что ему даже пришлось купить машину с «дворниками» внутри.

Словом, Маша и Карина отправились отдыхать на океан.

А в это время оставшийся в Таллине Крошка Тух-эс вышел из продуктового магазина и остановился у лотка, на котором были разложены чебуреки с кошатиной. Боря брал их с собой в театр, выходил в антракте на крыльцо и ел, а жир вытекал из-под пальцев и капал в раскрытый портфель с рукописями. Боря урчал, обсасывал пальцы и, насытившись до отвала, шел обратно в зал. Но сейчас он купил в магазине кило сахара, белый батон и пачку сливочного масла, что-то надо было с ними делать. Крошка Тух-эс разжал батон, запихнул в него пачку масла и хотел было посыпать все сахарным песком, но не выдержал, прокусил пакет с

сахаром и стал сыпать песок прямо в рот. Потом укусил батон с маслом и только после этого купил пять чебуреков с кошатиной.

– Ожидается выкидыш, – примирительно сказала Крошке Тух-эсу женщина, похожая на кошку, разодетую для циркового представления в юбку и кокошник.

– От кого? – попытался выговорить Боря, обсыпанный сахарным песком, прилипшим к сливочному маслу и крошкам булки; все вместе медленно застывало на лице, превращаясь в торжественную посмертную маску, на которую с тревогой смотрели воробьи, – но не смог ничего выговорить с набитым ртом, хотя и так не умел разговаривать.

– Если ты мне не веришь, то я тебе и не скажу, – обиделась женщина.

Крошка Тух-эс чуть не выронил горбушку: он так мечтал отдохнуть от красавицы Карины, с которой не мог расстаться из-за больной дочки Аделины, ждущей очереди в английскую клинику для ушивания желудка, где соглашались на операцию после того, как человек достигал двухсот шестидесяти килограммов, но Аделина весила только двести сорок два пятьсот, она еще могла стоять, правда, она как бы стояла все время на шпагате, потому что ноги не соединялись, не сходились, колыхаясь в волнах жира, растопыривая девочку, принужденную все время есть-есть-есть, чтобы добрать нужный вес во имя того, чтобы наконец, после операции, обрести стройность. Боря понял, что отпуск потерян безвозвратно, цирковая кошка Людка уходила все дальше и дальше, и Крошка Тух-эс стал рвать на себе рубашку, потом вцепился в грудь и разжал ее, как совсем недавно разжимал батон и закладывал туда брикет сливочного масла.

Он упал на траву у магазина и в последнюю секунду успел пожалеть о том, что написал тысячи лживых рецензий о любимом театре и поставил тем самым под сомнение возможность быть отпетым в зеркальном фойе и унесенным на плечах ведущих артистов в аллею театральных деятелей, отложившись тем самым от аллеи журналистов – самой презираемой на городском кладбище, где даже шампиньоны безговали прорасти сквозь дерн.

И только муж Маши, награжденный медалью в Брюсселе за развитие

метода получения эпитаксиальных структур арсенида индия с использованием МОС, спокойно пил пиво в недостижимой Маше дали, когда в него совершенно случайно, рикошетом, попала пуля террориста-смертника.

• РОДНАЯ КРОВЬ

Я все плачу и плачу. Снег состоит из одной мякоти. А так хочется чего-нибудь погрызть. Я вижу камфорный свет в окне напротив. Женщина стоит и разбрызгивает кровь: режет мясо.

– Кого ты убила? – спрашивает ее муж, вступая в свет. Нижние веки его оттянуты книзу – голубые высохшие желобки вокруг красноватой мякоти глаз. В таких желобках могут найти приют каракулевые каракурты со своими черными вдовами. Женщина свежует кролика, и он ее боится. Он знает про кролика, но все равно боится.

– Не валяй дурака, – говорит она ему, – это как убить огурец!

...Снег пританцовывает на батуте ежовой рукавицы ели. Балетный голос куклы Тутси, крещенной в цирковой купели, доносят утки на рассвете, когда идут кусать морошку, дрожащую в обмокших листьях, и этот голос снится крошке, засунутой в лукошко мамой и выстуженной на окошке...

Моя сестра, Оля-Олененочек, лежит в снегу. Она выбросилась из окна одиннадцатого этажа. Она лежит в снегу, а я уже здесь – я ведь всегда, всю жизнь рядом – кусаю влажный лоб сугроба. А она – смотрит и смотрит на камфорное окно дома напротив, потом успокаивается. Из дома выходит собака, подвывая.

Если бы собака меня заметила, она бы меня пожалела и принесла мне немного еды. Но я бы не взяла. Я бы осталась стоять перед моей сестрой Олей-Олененком на коленях в талой рытвине.

Я себя всегда наказываю голодом. Я ничего не даю себе есть, хоть голод смертельный... И так каждый раз. И так каждый раз. И никто никогда не узнает.

Никто ничего не знает. Дома гости сидят за столом на кухне. Они еще празднуют рождение мальчика, пьют вино из высоких бокалов. За Олю-Олененочка, за мою сестру, за ее мальчика, за новорожденного.

Дядя Костя кричит:

– Какой же русский не любит Страстную пятницу?!

А Арнольд Викентьевич выпивает и шевелит в воздухе двумя пальцами-усиками и находит колбасу и только тогда добавляет:

– Не случайно друга Робинзона Крузо звали Пятницей. А потом убили.

Еще утром Оля-Олененочек меня спрашивала:

– Лада-Оладушек, сестра моя, где же мой ребеночек? Где мой мальчик?

Я в ответ:

– Не имеет значения! – и стою в дверном проеме, как в раме... Снег пританцовывает на батуте ежовой рукавицы ели...

Ей дали отдельную палату в роддоме за то, что я давала клятву Гиппократу. На одиннадцатом этаже.

– Лада-Оладушек, сестра моя, где мой ребеночек?

– Не важно!

Вечером, когда все ушли, только в доме напротив горел как всегда свет, к моей сестре зашла в палату моя медсестра Вера, стряхнула крошки с тумбочки, пригладила салфеточку и протянула свидетельство о смерти:

– Подпишите, кстати.

А в прозекторской вскрыли мальчика и ничего не нашли.

Оля-Олененочек, сестренка, не подходи к окну, не надо!

Оля-Олененочек, одиннадцатый этаж. Я стою перед ней на коленях в талой рывине. Я рыдаю и вою и кусаю до крови свою перчатку. И снег, страшный апрельский снег крыльями бьет по глазам, запорошивает глаза белыми перьями. Зачем, зачем я это сделала? Сестренка, Оля-Олененочек, и маленький мальчик.

И вот уже дома мама, наша с Олей-Олененочком мама, и дядя Костя и Арнольд Викентьевич, все сидят на кухне, поминают. И хорошо до слез.

– Пыж, дай мне пыж, без пыжа нельзя! – кричит мама и ставит рюмку для моей сестры Оли и маленького мальчика, которому не успели дать имя, и дородная серебряная селедка веселится и поблескивает у нее на хлебе.

• СВОЙ ТЕАТР

Директор Своего театра Эдгар Сак руководит одновременно ансамблем крохотных, видных только под лупой, серебряных колокольчиков. Создать такие колокольчики было непросто, трудились редкие умельцы, но ни один так и не смог приделать к ним язычки. Колокольчики немые, и Эдгар повторяет:

– Я как щука – пою душой!

По примеркам шушукаются: «По ком звонят колокольчики?», но Эдгар не унывает:

– Ничего, ничего, публика дура, а штык – молодец!

– Наша публика любит бублички! – бьет чечетку заместитель Эдгара Мартин Лимдт, и из кармана пиджака у него выпрыгивает горсть золы, напоминающая о родном очаге, который Мартин покинул ради срочной службы искусству.

Служба совсем не простая. Ставится в Своем театре сказка Софии Скуул, переработавшей сюжет Маршака «О глупом мышонке» по заказу Всемирного Союза защиты детства и материнства. Действие разворачивается в пьющей и неблагополучной семье вятичей, где Мышка-мать подсовывает Кошке своего Мышонка (лишний рот!); Мышонок, конечно, не представляет, чего ждать от сладкоголосой Кошки, но Мышка-то-мать действует наверняка. Итак, Кошка утаскивает Мышонка, чтобы его уничтожить, как думают преступные вятичи, но во втором действии оказывается, что, напротив, Мышонок взят на воспитание, становится симпатичным Котом и отрекается от своих серых родителей.

Директор Своего театра Эдгар Сак прекрасно понимает, что безъязыкие колокольчики звонить не могут, но все-таки носит их с собой, подвесив в ряд на палочке, и любит ими, как любит созревающей лозой виноградарь, – он смотрит, как надувные шары ягод трутся друг о друга, чуть поскрипывая. У Эдгара Сака есть тайна: на самом деле в колокольчиках бьются язычки! Крохотные червяки – маленькие, беленькие, мечущиеся в серебряных границах колокольных куполов; эти червячки совершенно безболезненно выползают у Эдгара из ушей, и Эдгар все свободное время приучает малышей к подлинному искусству.

Приближается премьера.

Мышку-отца в новогодней пьесе должен играть Густав Спянов. У Густава нет шеи, и оттого кажется, что голова его приделана к

туловищу каким-то искусственным способом. Временами она наливается кровью, временами становится бледной. Но между головой и плечами, о чем почти никто не знает, есть не заметный глазу просвет, и оттуда, совершенно безболезненно, время от времени выдавливаются тоненькие полоски начинки. Густав в такие минуты заливается краской и начинает рассказывать собравшимся, что ему доводилось есть в ресторанах «фуагра».

Но в последний момент Густав отказывается от роли, и на его место вводится Арсений Кле. У Кле роль идет очень хорошо, но однажды на прогоне, уже перед самой премьерой, он скидывает рубаху, запускает руку под мышку, и оттуда, прямо из-под кожи, совершенно безболезненно разрывая поры, начинают вылезать пружинки и гаечки; их, хитро подмигивая, подбирает и прячет в карман синего рабочего халата монтер Авдеенко, которого так страшно избили на последнем банкете, что, говорят, в служебном лифте, где все произошло, крови было по самую щиколотку, вычерпывали рюмками и стаканами, хотя нашлись в театре и такие, кто утверждал, что Авдеенко досталось поделом.

Стоит ли добавлять, что Сюзанна Мо (сокращенно – Мошка), получившая Мышку-мать, так никому и не сказала до самой премьеры, что у нее в руке, возле предплечья, стал развиваться и расти кактус, совершенно безболезненно выпуская из-под кожи актрисы иголки и муаровые цветы, которые пугали детей в первых рядах, а иголки кололи партнеров, тем более что Мышонка играл реальный ребенок, и хотя взяли немного, чтобы он не сказал по ходу сказки ничего лишнего, а все-таки было крайне неприятно, когда глаза его наполнялись слезами и той подлинной болью, до которой поднимается даже не всякий профессиональный артист.

• А ОДНОМУ КАК СОГРЕТЬСЯ

Рыбак молчит, не знает, как утешить, и гладит, гладит, гладит рыбий мех.

Напротив сидит девочка; опустила ноги в прорубь и болтает ими, не страшась потерять сапожок, а то и оба.

– У меня так болит голова, – говорит девочка, – что я не смогу

рожать.

Черно-белый декабрьский мальчик веткой вычерчен на снегу.

Рыба обнимает сапжок девочки и прижимается к нему лицом. Чешуйки рыбы покрывают черепицу города.

Охотник прицеливается и попадает белке точно в глаз, сбив выстрелом снег с ветвей. Оснеженная белка встряхивает контужеными ушами, мнет в пальчиках комочек снега и не знает, как остудить оплавленный ожог.

– У меня так болит голова, – повторяет девочка, – что я не смогу рожать.

– Разве ты тяжела? – спрашивает наконец рыбак.

– Нет, – опускает девочка руки в воду. – Я уже привыкла.

Черно-белый декабрьский мальчик встает и вырывает из кармана красную лыжную шапочку с красным помпоном.

Белка умерла, но не забыла жжения, обуглившего свет. Заскорузлая ветка с вывернутыми суставами – вечно протянутая для подаяния – скопила большой кусок снега, но не дотягивается до белки. Охотник наклоняется над белкой и говорит:

– А сердце бьется, сердце бьется!

И прячет белку у себя на груди и согревает ее своим дыханием.

И рыба ворочается и вздыхает во сне в садке у рыбака и ждет своего возлюбленного, который целует сапжок девочки.

– Пусть ей пересадят мое сердце! – кричит охотник, обняв белку что было силы, и бьет сапогом в лед, как в дверь, которую закрыли на все замки.

– Разве у тебя есть сердце? – говорит рыбак.

– Ему нужно открыть, нужно открыть! – кричит девочка и ныряет под лед и подплывает снизу к тому месту, где сапог охотника, и царапает и кусает лед, а рыба трется жабрами о ее щеку, как если бы возлюбленный утром обнял бы ее и потерялся бы отросшей за ночь щетиной – родной, колкой, сладостной, домашней, а она бы отвела голову, подставляя шею, и увидела бы тогда в окне белую церковь, выскобленную, как покойник, с рождественскими глазами.

• РАЗБИТАЯ ЧАШКА

Он покосился на рояль, как иноходец на бегу – откинув оскал вбок. Он увидел белые ровные гладкие ноги сведенных белых клавиш и над ними – ровно подбритую выпуклую полоску черной клавиши. Он дернул удила, и пена взбилась цветком в губах.

У входа в спальню лежал коврик; он встал на цыпочки и долго-долго вытирал ноги, цепляясь гвоздями подков за рядом так, чтобы старые ухнали вылезли, показали тонкие бесполезные шейки, и он бы пошел дальше босиком, неслышно.

Шейки ухналей вылезали – будто зубы вытягивали щипцами, и челюсти подков падали со звоном, – разбилась чашка, которую она поставила у постели, поленившись встать и отнести на кухню, где хлебница стояла, разинув рот.

Когда разбилась чашка, она встала:

– Люди, – сказала она, – притворяются. В жизни притворяются на бегу, кое-как, постыдно. А на сцене притворяются искренне, красиво. Вот стоит арбуз и придерживает за рукоятку нож, вонзенный в живот. Потому что если вытащить нож, то уже никто не поможет, вывалятся косточки все до единой, хлынет мякоть, и поминай как звали.

И она, говоря это, выходит из окна и летит, летит в ожидании промелькания прожитой жизни.

Чайки в чесучовых приморских костюмах прогуливаются возле кромки следственного мела. Во дворе перед домом светит солнце, и воробей пересчитывает песчинки в песочнице. Из распахнутого окна теплый и сладкий, как абрикос, глаз иноходца следит за булыжниками мостовой.

Народу скапливается столько, что полиция и не пытается его разогнать, все равно все следы стерты, все доказательства потеряны, так не лучше ли открыть здесь легкое летнее кафе, пока народу скопилось столько, что все хотят пить на бетонной песчаной заре.

И вот уже первый толстяк валится на стул и кричит:

– Пить! Пить!

И вот уже первый официант подлетает к нему с высоким стаканом, наполненным льдом и украшенным долькой лимона.

– Нет! Уберите лимон, уберите лимон! – воет толстяк.

И первый официант осторожно, будто ему нужно ухватить бабочку

двумя пальцами за крыло, бабочку, залетевшую в карман (а он – карманник в трамвае, и никто ничего не должен заметить), – запускает руку в стакан и почти ухватывает ломтик лимона за цедру, но ломтик все-таки увертывается и скользит вниз; официант засовывает всю кисть в стакан, задрав рукав белого пиджака, будто собирается просунуть руку сквозь стекло, сквозь стол, до самого асфальта и, может быть, незаметно что-то подрисовать, как-то оживить контур, в котором ничего не осталось от увезенной прелестницы, вылетевшей из окна в ожидании промелькания прожитой жизни.

Он все еще стоит у окна. Перезревший глаз его слаще абрикоса. Белые гладкие клавиши его зубов умыты пеной. Ноздри его раздуваются в память о запахе, за которым он крался на пятый этаж.

Лед тает, лимон вуалехвосткой зарывается в толщу дна, плывет кверху брюшком и отмахивается от официанта крошечными ручками плавничков.

- ДРЕМА

Свой бобовый устроили праздник две лобные доли. Гонят Дмитрия Алексеевича Дыбу туда, где спуск к базару. Кукуруза показала желтые лошадиные зубы.

Подсолнух коробейником гуляет по рядам, черные остроносые меточки выщипывает из лотка.

У женщины руки обуглились уже до локтей. Пожар перешептывается с кисейной занавеской. Доскользит ли тихое круглое горлышко до умирающих ртов от жажды?

Далеко-далеко, у вокзала, кто-то поднял обломок кирпича, подскочил к собаке, и кирпич оказался в собачьей оправе.

Табуретка стояла в коридоре. Над ней свисала петля, и кусок хозяйственного мыла лежал рядом. Дмитрий Алексеевич Дыба ощупал свое голое тело, – чуть не сковырнул родинку на боку, разросшуюся, в расщелинках и бугорках, как деревенька, увиденная из окна самолета, – совершенно негде было спрятать записку.

Дневной сон плохо действовал на Дмитрия Алексеевича со смешной

фамилией Дыба, которую всегда обыгрывали сослуживцы в довольно угрюмых капустниках, а вечером ему непременно нужно было быть на спектакле в Городском театре.

Спектакль начинался издалека: уже за два квартала от театра зрители попадали в тесный коридор лагерной охраны. Вохра держала на поводках крупных немецких овчарок. Собаки рвались с поводков и вставали на дыбы, будто они кони на Аничковом мосту в Петербурге, где Дмитрий Алексеевич никогда не был, но кони-то с моста, наклоня морды вбок, разбрасывали вокруг хлопья пены, похожие на метель.

На колючей проволоке, прошитый за побег автоматной очередью, лежал ведущий артист Городского театра Аркадий Яблоков.

– Ваше место у параши, – с особым почтением проговорила Дмитрию Алексеевичу билетерша.

По проходу, тяжело дыша, как дышит нелюбимая женщина во время акта любви, бегала собака с охранником. В боку у нее был оперившийся камень, – он не умер, сквозь него прошли капилляры и кровеносные сосуды, он прижился, приластился, как мог бы прижиться на малярной, табачной, словно состоящей из одного долгого поцелуя, слякоти болот каменный город.

В театре, кстати, было холодно, и Дмитрий Алексеевич достал из портфеля плед, на котором было вышито «Федор Михайлович Достоевский», потому что Дмитрий Алексеевич одно время встречался с женщиной, которая до него встречалась с механиком теплохода «Федор Михайлович Достоевский».

– Милая, – шептал он женщине, чьи руки были обуглены до локтей. Пожар взбирался по занавеске, как маленький гимнаст в красном трико. Свой бобовый устроили праздник две лобные доли. Он терялся в женщине так, что глаза его, в предчувствии изумления, блуждали по горящим стенам, а она, милая, хоть и обнимала его ответно, но одновременно поливала за его спиной лиловые растения, льстиво откликавшиеся на каждую каплю воды, которая лилась из маленькой детской лейки.

Но неужели он сам, сам приблизится к табуретке, сам разомнет петлю, машинально, будто как ворот новой рубашки с опасностью магазинных булавок в упаковке, сам?

Сколько раз он обещал себе не спать в театре!

На сцене долбила мерзлую породу группа заключенных в телогрейках. Рядом, присев на корточки у костра, жрал тушенку вор в законе. Одна стена зала раздвинулась, и всем стал виден Аркадий Яблоков. Его ступни, нанизанные на проволоку, смотрели в небо. Над Аркадием кружил коршун. Дмитрий Алексеевич подскочил к собаке, вырвал у нее из бока камень и швырнул в коршуна. Тот забился за горизонт и не смел больше выглядывать. Дмитрий Алексеевич взобрался на табуретку и протянул руку. Он столько раз это делал, ввинчивая лампочки, когда правая рука уже коснулась патрона, а левая отстала, еще только отталкивается от воздуха.

Он понял, что сейчас, в эту секунду, он должен проснуться, выбить себя из сна пробкой, ударить по дну бутылки рукой; выбить хотя бы и с дном бутылки, чтобы осколки стекла вошли в запястье и разбудили, перерезав сухожилия, вены, все, что угодно.

Он выбил, захлебнулся, нырнул глубоко – за перламутровой раковиной, еще глубже, еще. Он уцепился за гребень раковины и тянул. И липкое дно болот стало поддаваться, отслаиваться, медленно, еще медленнее.

Дмитрий Алексеевич Дыба думал только о том, что вот сейчас надо бы вдохнуть полной грудью, но легкие слиплись, выдохлись, и его нашли и похоронили только тогда, когда все равно хоронили Аркадия Яблокова, пролежавшего на колючей проволоке четыре месяца – пьеса пользовалась большим успехом – и получившего посмертно звание заслуженного артиста. И Дмитрию Алексеевичу Дыбе так захотелось поздравить с заслуженной наградой Аркадия Яблокова, что он решил непременно нарвать ему яблок в Раю.

• НА МАСЛЕНИЦУ

Смирный постриг деревьев. Ровная скоба крон. Они не смеют думать о мирском – о листьях. Нимбом стоит над ними голубое небо, и нестерпимо сияние длани Господней, осеняющей самолет. Завелась у него в сердце кровь, зевала, жмурилась, собиралась в сгустки, потом с узелками, с ненужным этим скарбом

протискивалась по сосудам, как по плацкартным переполненным вагонам. Он стоял у окна вагона и видел самолет.

Самолет летел в небе, расправив руки. Он висел, замерев, возле мягкого облака пыли. Плыли мимо облатки.

Простите меня, родные, а кагора не было в небе, не купили.

Рыбы ели кашу из манны небесной; объедались, запихивали в себя плавниками; и горел фонарь, прогревая зевы, чтобы путнику было не ошибиться случайно. Заходи в это маленькое алое логово, заплывай на своей ненадежной пироге, отбивайся веслом от Всевышнего, лежа на дрогах, и кричи ему: «Трогай! Ну что же ты, трогай!»

Он говорил сбивчиво, прощаясь:

– В моем детстве между оконными рамами прокладывали на зиму вату; ее украшали бусинками, звездочками, разноцветными кружочками из бумаги. Ты сейчас поймешь. Это как пластмассовые шары на подставках – в них, если их потрянуть, идет снег, и сказочная девочка в шубке стоит на ледяном пригорке. Да и вертепы на Рождественских ярмарках напоминают мне сразу о той оконной вате, разложенной для тепла, для того, чтобы ветер не проникал в щели деревянного дома, но звездочки и бусинки не могли скрыть своего происхождения – от тайной веры в чудо.

Моя мама была страшной, непримиримой противницей украшений на оконной вате, она считала такие украшения тревожными пережитками, и наша вата лежала, съезживаясь и поджимаясь, а бусинки я видел в домах у своих подружек.

Нет ничего счастливее зимних детских тайн под бархатной скатертью, с бахромой, заплетенной косичками, и старушечьими космами над столом бабушкиной сестрицы, приехавшей в гости с райскими яблочками, с вареньем из айвы, с яйцами, сваренными вкрутую до синевы и не съеденными в долгой плацкартной преисподней в одном исподнем...

И ты помни.

• ПРОСТИМСЯ С МИРОМ

Хочется повернуться к жизни какой-то грустной своей стороной, лечь в профиль, как камбала, и двигаться чуть-чуть, поднимая

песочную взвесь. И забивать ею жабы, чтобы дыхание стало жестким, скрипучим, чтобы каждая песчинка, зарываясь в слизь, собиралась стать жемчужиной в створках твоего тела и обманывалась бы, как мы все обманываемся в любви.

Или пить на брудершафт с воробьем: пусть бы он протягивал тебе в клюве виноградинку щедро и осторожно, будто она из стекла.

И делился бы с тобой каплями, переливая их в твое горло. И это все под водой, понимаешь, под водой, где в ушах у тебя по горящему солнцу и где вода, как маковая коробочка, как маковый узелок на память; она вдруг взрывается и осыпает тебя фонтаном зерен, из которых никогда не вырастет мак с алыми опахалами.

Об авторе: ЕЛЕНА СКУЛЬСКАЯ

Родилась и живет в Таллине. Автор журналов «Дружба народов», «Звезда» и др. Автор книг на русском и эстонском языках «В пересчете на боль», «На смерть фикуса», «Ева на шесте», «Siilid udus», «Мраморный лебедь» и др. Лауреат «Русской премии», премий Эстонского Союза Писателей, фонда «Эстонский капитал культуры» и др., финалист «Русского Букера». Neкаýаlar